

**Андрей НЕДЗВЕДСКИЙ**

# СЕМЕЙНАЯ ТЕТРАДЬ

(фрагменты)

Во мне течет столько кровей, сколько их может быть у коренного — четыре поколения по материнской линии — жителя южного приморского города.

Поляком и католиком был незнакомый мне прадед Антоний Недзведский, с которого я веду исчисление предков. Женат был Антоний Недзведский на украинке, и вот по этой прабабке я определил свою национальностью украинскую. Сын их, Василий Антонович — впоследствии многолетний ананьевский нотариус — был по законам того времени крещен в православную веру, что и определило его отход от польской национальности, где решающим был вероисповедный признак.

Так он оказался полуполяком, полу-украинцем. А затем женился на русской девушке Ольге Сиваевой, и их дети стали лишь на четверть своей крови поляками — в их жилах потекла и русская кровь.

Хорошо помню, что отец мой определял свою национальность, когда такой пункт стал фигурировать в анкетах при Советской власти, как украинскую.

Теперь обратимся к материнской линии. Здесь окажется, пожалуй, еще больший национальный конгломерат. Дед по матери — Михаил Лазаревич Маркович — был черногорцем. Родители его, подобно многим, эмигрировали на берега Черноморья. Дед очень гордился своей принадлежностью к маленькому, но храброму черногорскому народу, и эта гордость была тем более примечательна, что воспитывался он в сиротском доме без родителей, которые умерли один за другим, когда он был еще очень мал. Он ездил потом в Черногорию, где как подданный этой страны получил национальный паспорт — огромный, как дипломы ремесленников старого времени.

Когда пришла пора жениться, Михаил Маркович избрал своей спутницей Варенку Урсати — ксати, гимназическую подругу другой моей бабушки Ольги Сиваевой. Фамилия Урсати была молдавской и содержала в себе нечто медвежье, как и Недзведский: и та, и другая могут быть переведены на русский язык как «Медведев».

В роду Урсати переплелись молдавская и украинская кровь. Украинская входила в этот род вместе с женщинами, а одна из прапрабабок была по фамилии Хаджили, то есть гречанкою. Но кухня у нас в семье была во многом молдавской. Это влияние было в быту, как видно, сильнее других, хотя все семейные предания и рассказы фигурировали в украинской речевой передаче.

Вот так встретились во мне кровь украинская, польская, русская, черногорская, молдавская, греческая.

Твердо, однако, я стою на том, что моя национальность — украинец. Ведь украинская кровь, пришедшая по отцовской линии от прабабки Недзведской, пополнилась еще и с материнской стороны.

Жизнь шла тем временем дальше. Я женился на девушке, которую годовалым ребенком родители привезли из белорусского села. И отец, и мать ее — коренные белорусы. Жена моя — Вера Милешко — выросла на Украине, любит Украину и украинское, как свое родное.

У нас две дочери. Каждая из них фактически наполовину белоруска, на другую половину приходится вся переданная им мною смесь национальностей.

В этом секторе еще вдвое по сравнению со мной уменьшился украинский элемент. Но каждая из дочерей по наследству определяет свою национальность как украинскую.

Когда-то Драгоманов говорил о себе как об украинце «со всечеловеческими тенденциями» — хочу думать, что это применимо и к нам...

\*\*\*

Я родился в доме Больма на Кузнечной улице Одессы, кажется, это номер четырнадцатый. Но уже с двухлетнего возраста жил на Торговой, 16. Это огромный, выходящий на три улицы (Херсонская, 19 и Елисаветинская, 4) трехэтажный дом из 64 квартир. Он имел три двора с тенистыми палисадниками и колодцем дождевой воды. Это дом моей молодости, в котором я прожил до 25-летнего возраста, с которым и дальше не порывалась связь, потому что там оставалась жить мать, а теперь живут сестра с зятем.

Оживленно было на нашей улице. На углу Торговой и Херсонской располагался винно-гастрономический магазин грека Кутуллы. Сравнительно неподалеку, на Дерибасовской, находились, конечно, лучшие магазины с большим выбором товаров, но он был незаменим, когда в вечернюю пору появлялись гости. Тогда к Кутулле командировалась наша Ксеньюшка для срочной закупки гастрономии.

В магазине Кутуллы была большая по тем временам редкость — телефон. Сюда тоже командировалась Ксеньюшка для срочных приглашений гостей. «Леонтий Иванович! — говорила она, отрекомендовавшись, папину двоюродному брату. — Вас с Антониной Михайловной наши просят сегодня на чай...»

Дальше вниз по Торговой была кондитерская тихой и скромной женщины Ивановой. Кондитерская была явно третьеразрядной, пирожные обычно покупались у Печеского или у Фанкони, но бабушка, когда гуляла со мной, неизменно останавливалась и толковала с Ивановой «за жизнь». Один из сыновей Ивановой был горбун и калека, которого долго возили в коляске — было о чем матери погоревать, а доброй соседке посочувствовать. Другой из сыновей (гораздо старше меня по возрасту), с которым я как-то разговорился в 1944 году, оказался неожиданно для меня проникнут украинскими симпатиями. Тихо и незаметно, как и жили, все они ушли из жизни.

Соседом «кондитерши», как величали между нами Иванову, был мужской портной Аппой, у которого росла дочка Броня. Она была старше меня на несколько лет и в какие-либо контакты со мной не вступала. Впрочем, портной Аппой прославился не своей дочкой и не сшитыми им костюмами, а тем, что в 1917 году, примкнув не знаю уж, к какой партии, стал домовым комиссаром нашего огромного дома, с большим рвением выполняя свои новые обязанности.

Позже другие лица возглавляли это «самоуправление» — существовал целый домовый комитет. Его возглавлял некто Зайдлер, живший в первом дворе, и я постоянно бегал к нему (уже позже, в девятнадцатом, двадцатом годах) свидетельствовать различные справки, без которых и дня нельзя было прожить в ту беспокойную пору. Зайдлер принимал меня, несмотря на мои одиннадцать лет, на полном се-

рье, и я потому охотно брал от родных поручения по связи с домовым комитетом.

Уже впоследствии, в 30-е годы, я встречался с сыном Зайдлера Мишей, заведовавшим отделом в обкоме комсомола, очень приличным молодым человеком, вежливостью своей похвалившись на отца. Мне всякий раз было приятно с ним общаться, невольно вспоминая более ранние годы и свои посещения домового комитета. Очень было жаль Мишу Зайдлера, который погиб в 1937 году...

Вернемся к фасаду нашего дома.

Вслед за заведением Аппоя следовало ателье (хотя такого слова тогда не употребляли) часового мастера Авербуха. Так как первый этаж постепенно по направлению к Елисаветинской поднимался, то к часовому мастеру, в витрине которого всегда было «точное время», вела лестничка в четыре или пять ступеней. Напротив, под акациями, стояла скамейка, а на спинке ее рекламировался часовый мастер Авербух.

Квартиры Авербуха и наша на третьем этаже выходили на один черный ход, и я часто встречал его дочь — девушку с большой рыжеватой косой. Прошло много лет, и я встретился с ней в нашем Доме печати как с женой рабкора Маргулиса. Как ни втолковывал ей, кто я, втолковать не мог. С высоты пяти — шестилетней разницы в возрасте вспомнить соседского мальчика она не могла. Потом мы увиделись снова, когда минуло, пожалуй, еще три десятка лет. Была встреча выпускников Одесского инархоза 1930 года, на которую пришли и некоторые выпускники более ранних лет. Оказалось, что мы учились в одном институте, хотя и не знали этого — она окончила инархоз ранее меня. И снова с признанием соседства оказалось трудновато.

Торгово-ремесленные точки далее прерывались рядами жилых окон и двумя выходящими на улицу парадными ходами. А в самом конце дома перед поворотом на Елисаветинскую улицу шло большое «дело» — мебельное предприятие братьев Дрешер. Его вели двое братьев и муж сестры, вели, очевидно, неплохо, ибо всегда здесь былолюдно, а в годы НЭПа оно опять на несколько лет возобновилось.

Части дома, выходящие на Херсонскую и Елисаветинскую, не были так насыщены торговыми «делами», но все же главным среди них был фруктовый магазин, который держал хозяин-армянин, рядом с воротами, выходящими на Херсонскую улицу, точнее, рядом с соседствовавшим с ними парадным ходом.

Многое можно было приобрести для жизни в своем же доме. Колбасы и ветчину, вина и водку, кондитерские изделия и фрукты, мебель и часы...

Принадлежал дом наследникам Перкеля. Один из них был врачом, другой инженером, а третий — не знаю кем. На дочку одного из них — Зиночку Перкель, розовощекую, румяную блондинку — заглядывались все мы, мальчишки принадлежавшего ей в каких-то долях домовладения. Не помню уж, в каком разговоре и с какими москвичами возникло имя Зиночки Перкель, теперь проживающей в Москве...

Впрочем, из наследников Перкеля мы имели дело только с одним — мужем одной из дочерей-наследниц Исааком Григорьевичем Рашковичем, жившим с нами на одной площадке. Ему дед вручал квартирную пла-

ту, обращался к нему как к домовладельцу.

Крупный добродушный мужчина, приятно рокотавший чуть картающим баском, Исаак Рашкович был крупным специалистом по морским перевозкам и в этой отрасли работал вплоть до 1937 года, когда был арестован, в чем-то обвинен и погиб. Судьба небольшой семьи Рашковичей сложилась трагично. Сын Владимир был призван в армию и не вернулся с Великой Отечественной войны, жена Полина Давыдовна забрана фашистами в гетто и погибла.

\*\*\*

Самым большим, наверное, событием моего детства, надолго его заполнившим беспокойным содержанием, был пуск в Одессе электрического трамвая, сменивший конную тягу или, попросту говоря, конку. А самое главное заключалось в том, что одна из линий трамвая под номером один (Ришельевская — Херсонская) прошла мимо нашего дома! Сворачивая с Херсонской улицы, трамвай пробежал чуть-чуть, как говорится, с горки, маленький квартал по Торговой улице, делал остановку и двигался затем по Елисаветинской. А трамвай с Елисаветинской, там остановившись, медленно и тяжело поднимался по Торговой мимо нашего дома, нашего балкона.

Это было для меня незабываемым зрелищем, которое я готов был предолго наблюдать. Я изучил затем все трамвайные маршруты города, которых набралось в конечном счете тридцать три. Даже сейчас, когда со времени прокладки трамвайных путей прошло почти семь десятков лет, я смог бы выйти на экзамен и безошибочно ответить все маршруты. Причем ответить даже «в динамике», поскольку на протяжении десятилетий маршруты, конечно, видоизменялись, а мой интерес к трамвайному движению, раз возникнув, продолжал теплиться.

Профессия трамвайного кондуктора долгие годы представляла мне самой интересной, самой увлекательной, и на традиционно задаваемый детям вопрос: «Кем ты хочешь быть?» — я решительно отвечал:

— Трамвайным кондуктором!

Конечно, странно было слышать такое от ребенка из обеспеченной, интеллигентной семьи, но меня это не смущало.

Все приходившие в дом, а летом приезжавшие на дачу родственники и знакомые были обязаны принести с собой трамвайные билеты. Ах, как интересно было их собирать! Ведь в ту пору для каждой трамвайной линии печатались свои билеты, где были указаны номер линии и ее название — начальные улицы маршрута. А на каждой линии были четыре рода билетов: прямые по 5 копеек и пересадочные (одеситы говорили: «с пересадкой») по 6 копеек; льготные ученические по 3 копейки и снова-таки пересадочные по 4 копейки.

Пересадочный билет — хотя это, наверное, и так ясно — давал право пересесть на любую другую, с этим маршрутом пересекающуюся, линию. Все четыре сорта билетов кондуктор держал перед собой на металлической дощечке, причем они отличались по цвету и формату: пересадочные были длиннее прямых.

То же было на других линиях: можно себе представить, какую радугой являли собранные воедино билеты различных маршрутов. А восемнадцатый, большефонтанский маршрут — какое разнообразие билетов существовало здесь! Одни продавались до 4-й станции Фонтана, другие до середины маршрута (кажется, до 10-й), третьи — до конца. Наряду с общими были ученические. Это многообразие просто казалось волшебством — только успевай собирать. А ведь так же было на Хаджибеевском маршруте, на Куяльницком!

Конечно, у меня были свои противники, портившие жизнь, срывающие мое коллекционирование. Это были трамвайные контролеры. По хорошо мне известной инструкции они, проверяя билеты, должны были их прокалывать щипчиками, которые и носили в большинстве своем на браслетке и цепочке на правой руке. Так полагалось. Но многие вместо этого просто отрывали кусок от билета.

Поэтому по мере приближения в вагоне контролера я краснел, бледнел и мог разреваться разом, когда он отрывал кусок билета. Родители наперед торопились уговорить контролера:

— Вы уж, пожалуйста, не рвите билет. Ребенок их собирает. Пожалуйста...

Иногда это действовало, иногда нет. Был один контролер, который сочувственно относился к моим увлечениям. Он уже знал нас, здоровался с моими родителями. Был он маленького роста, я не знал его фамилии и про себя величал его «Маленький». Познакомились мы с ним на Хаджибеевской линии, когда летом жили на лимане, и я оживал, когда на проверку билетов приближался Маленький. Он долго работал на трамвае, и я встречал его, когда уже повзрослел, но, к сожалению, не догадался спросить его фамилию, хотя этот человек, бережно относясь к моим билетам, приносил мне столько радости.

Я был искренне огорчен, когда как-то на лето отец приобрел постоянный трамвайный билет (по тогдашним порядкам — с фотографической карточкой). Я понимал уже очень хорошо, что так экономится какая-то сумма: вокруг растет дороговизна, и с этим надо считаться. И все же было жаль, что от меня ускользает немалое количество билетов, которые мне мог бы сдавать отец.

Озадачивала меня и учительница французского языка мадемуазель Адель Порре, занимавшаяся со мной на дому. Она тоже, конечно, должна была, приезжая, сдавать билеты. Но вот один, другой, третий раз она приезжала без билетов. Выходя из вагона, она отдавала их безбилетным пассажирам — солдатам, едущим дальше по маршруту (хотя время было военное, солдаты, даже раненые, не пользовались никакими трамвайными льготами). Немного смущаясь, она сообщала, что отдала билет «бедному солдату» («au pauvre soldat»)...

Вот тут и возникло испытание для моего патриотизма: с одной стороны, я ведь сызмальства читал газеты, следил за военными событиями и не мог не сочувствовать солдатам, вчера пришедшим или завтра идущим в окопы. А с другой стороны, моя коллекция терпела явный урон... Все же благоразумие брало верх, и я смирился с тем, что на этот раз коллекция не получила пополнения.

Конечно, эта коллекция могла бы вырасти до необычных размеров, если бы не мама. Время от времени она ласковым голосом предлагала мне совместно заняться сортировкой билетов. Не предполагая каверзы, я соглашался. Обычно приглашался еще кто-либо третий, и мы в шесть рук приступали к делу. Сортировка (как мне об этом рассказывалось впоследствии) шла таким образом, что количество билетов уменьшалось то ли вдвое, то ли вчетверо. До следующей сортировки с таким же эффектом.

По этой причине ничего от моей трамвайной коллекции не осталось. А такое собрание билетов (по одному каждого образца), наверное, могло бы представлять интерес для истории города.

Все детство прошло под одним знаком:

— Хочу быть трамвайным кондуктором!